

Вера Бройде

Падение

Тем летом я лежала на земле, в уютной маленькой проплешине, оставленной толчками детских ног. В шесть лет мне нравилось качаться на качелях ничуть не меньше, чем играть в футбол. И я качалась, а потом, задумавшись о том, как было бы чудесно вдруг взять и полететь, упала на спину и замерла. А надо мной туда-сюда со свистом проносилась деревянная дощечка, служившая сиденьем. Мне было больно, но не страшно. Скорее, стыдно и не ясно, что делать дальше: подниматься? Да мне же голову снесёт, едва я попытаюсь это сделать!

Спустя минуту или две я всё ещё лежала на спине и размышляла о своей судьбе: о том, как сумерки накроют город и все уйдут с площадки по домам, а я останусь тут. Хотя к тому моменту качели останятся, я не уйду, я так решила. Ну, почти. Я представляла бабушку, которая отправится на поиски, когда узнает, что мой брат в который раз меня оставил. Я представляла страх в его глазах (какое сладостное чувство!), когда мой дедушка, нахмутив брови, покраснев, откашлявшись, объявит очень строго, пожалуй, даже грубо, но вместе с тем уныло, уныло и печально, а также, хорошо бы, чтобы хрипло и, может, ну, немного обречённо, что он отныне в нём разочарован. Я представляла, как мой брат побагровеет, как будет отпираться, невнятно и нелепо бормотать, что это я решила с ними в рощу не ходить, что он не виноват. Я представляла жизнь, в которой буду наблюдать за всеми, как маленькая мошка. Она сидит на подоконнике и слушает, и смотрит, и вздыхает. Потом она взлетает - и незаметно исчезает в голубоватой дымке за окном. Никто не думает о мошке - только я. Я думала о ней, когда лежала в ямке на земле. Мне было шесть, и я завидовала мошке.

А в небе тихо открывались окна и толпы кузнецов готовились начать концерт. Сегодня, как всегда, они играли только для меня. Сначала вкрадчиво и нежно, как если бы меня будила мама. Потом чуть громче. И ещё чуть-чуть. Настойчивей и выше, быстрее-быстрее-быстрее, как будто сотни машинисток печатали на стареньких машинках письма. Я слушала, как мчатся звуки, похожие на щепки, которые трещат в оранжевом костре. И думала о том, что мухи, к сожалению, совсем не музыкальны: жужжат, как провода, нависшие над узкой и прямой дорогой, которой мы идём домой, когда внезапно портится погода. Однажды я увидела лохматую собаку, которая сидела на пригорке и всматривалась вдаль, а с неба падали ажурные снежинки и мягко приземлялись на нежный чёрный нос. Наверное, она ждала кого-то. Тогда и я пристроилась с ней рядом и тоже стала ждать. Никто не приходил. Я рассказала ей немного о себе, о том, что мой любимый цвет - небесно-синий, а буква - «М», а цифра - два, что я люблю клубнику и не люблю разваренный картофель, что я, как и она, умею плавать по-собачьи, что не боюсь грозы, что вечером раскачиваю зуб, который скоро должен выпасть, что обожаю просыпаться рано утром, когда все в доме крепко спят, и целый час играть в игрушки, которые хранятся в большом облезлом чемодане под кроватью, что не умею рисовать носы и собирать

съедобные грибы, и что меня ещё никто и никогда не звал с собою на рыбалку, а мне бы так хотелось... Собака слушала, как падают снежинки. Подхваченные ветром, мои слова кружились вместе с ними и оседали на её ресничках, на лапах, на ушах и на спине. И я решила, что пушистая собака умеет слушать как никто другой, и что мне крупно повезло, что именно она, а не какая-нибудь кошка, хомяк, мальчишка или крыса, узнала про меня в такой заснеженный момент.

Однако если бы собака, а не я, пришла тем летним вечером домой, её скорей всего бы не пустили. Не думаю, что бабушка и дедушка ей бы позволили остаться и спать в моей кровати. Хотя, наверное, её бы пожалели, погладили по голове и дали ломтик колбасы. А после ей сказали бы: «Иди. Иди к себе домой, собака». И потоптавшись у порога, в конце концов собака бы ушла. Она вернулась бы во двор и села у качелей, с которых я упала, когда задумалась... когда задумалась о том, как было бы чудесно вдруг взять и полететь. Точь-в-точь как птица, а не глупенькая мошка.

Недавно я вскарабкалась на вышку, стоящую поблизости, в другом конце двора. Оттуда мне открылся вид, который свёл меня с ума: десятилетние мальчишки - а я-то их считала слишком важными, раздутыми от гордости, далёкими, серьёзными, большими - носились взад-вперёд, как муравьи, и только поднимали тучи пыли; они играли в прятки, и я бы с лёгкостью могла раскрыть убежище любого. Тогда я поднялась ужасно высоко. Наверное, как божество. Или ворона. Я доставала кончиками пальцев до листьев на верхушке дерева. Я знала, что лежит на крыше гаража (разбитое стекло, какое-то тряпье и ржавое ведро). Я даже видела полоску океана... Конечно, это был не океан, но мне хотелось думать по-другому. Мне нравилось считать, что я живу у берега, и волны шепчут мне «Отбой!», а может быть, «Постой!», или «Не стой!», или «Покой». А если бы я превратилась в чайку, то поняла бы, что им надо, или не им, а только мне.

У чаек круглые глаза, похожие на шляпки чёрных гвоздиков, которые вбивает в стену дед. И смотрят чайки так, как будто знают твой секрет. А что им может быть известно обо мне? Не знаю... Я же ведь не чайка. Но я могла бы ею стать. Не зря мой взгляд зовут тяжёлым. А в теле и с душою чайки мне больше так никто не скажет. Кому придёт на ум всю жизнь ругать за взгляд летящую над океаном чайку?

Отправиться туда, где из большой трубы клубятся облака, и затеряться в них на полчаса, перелететь через овраг и сделать несколько кругов над жёлтым полем, где прошлой осенью мы встретили ежа, - я загибала пальцы, считая, сколько славных дел могла бы совершить в обличье белой чайки: сидеть на ветках облепихи допоздна, рыбачить целый день, без лодки и без удочки, и даже без наживки, качаться на волнах, как будто на качелях, с которых я упала, и не бояться высоты.

Качели, между тем, давно остановились. Питаться рыбой без конца... Забыть навеки про футбол... А в нижнем ящике стола лежали три карандаша: сиреневый, зелёный и бледно-голубой. Никто пока о них не знал - и хорошо бы не узнал: мне так хотелось их испробовать самой. Сиреневые волосы рисую

только я. У чаек нет волос. И нет карандашей... Пора уже решать. Я знаю. Знаю. Я почти.

- Качели не твои! Нельзя вот так лежать. А ну вставай!

Высокий, белобрысый, с крапивными укусами на бледных, как лапша, разваренных ногах, он обращался не ко мне, а к девочке, которая лежала на земле и думала о том, как посуровее ответить.

- Нельзя чесать укусы. Качайся, сколько влезет, дурень.